# Тёплый хлеб

**Автор:**
Константин Паустовский

Теплый хлеб

Константин Георгиевич Паустовский

Внеклассное чтение. Хорошие книги в школе и дома

В книгу включены сказки и рассказы о войне К. Г. Паустовского, которые рекомендовано читать в 5-11-х классах.

Константин Георгиевич Паустовский

Теплый хлеб

Сказки и рассказы

© Паустовский К. Г., наследник, 2020

© Оформление. ООО «Издательство Эксмо», 2020

Рассказы

Путешествие на старом верблюде

В Казахстане, на берегу озера Зайсан, прозванного кочевниками «Озером колоколов» за чистый звон его волн, прожил всю свою жизнь старый казах Сеид Тулубаев.

Может быть, не все знают о Казахстане. Тогда им придется развернуть карту Азии и в самой сердцевине материка, между Каспийским морем и пустыней Гоби у подножия Небесных гор – Тянь-Шаня, найти очертания этой огромной страны.

Знающие люди говорят, что если отрезать от Европы все полуострова, то останется территория, равная Казахстану. Я не проверял этого, но знаю, что Казахстан занимает исполинскую площадь в три миллиона квадратных километров.

Границы этой республики заключают в себе не только пустыни, те бесплодные земли, над которыми, по словам простодушных кочевников, «пролетел ангел смерти», но и травянистые тучные степи, озера, похожие на моря, и оазисы, напоминающие оазисы Индостана, и, наконец, снеговые горы и альпийские пастбища. Там травы подымаются выше всадников, едущих на лошадях.

Казахстан богат углем, нефтью, медью, железом, золотом, серебром и драгоценными камнями, свинцом, рыбой и солью, хлопком и рисом, стадами рогатого скота, овец и верблюдов, табунами лошадей, хлебом, фруктами, овощами, табаком и сахаром, наконец скромными корешками тау-сагыза, пропитанными каучуком.

Но старый Сеид ничего не знал о богатствах своей страны. Он видел только озеро Зайсан и Алтайские горы, – их вершины каждый вечер горели закатным огнем.

На Зайсан Сеид пришел из омских степей маленьким мальчиком. Это было шестьдесят лет назад. Он пришел с толпой русских крестьян, бежавших от голода. Крестьяне слышали, что за пустыней лежит страна по имени «Белые воды» – богатая и девственная. Там в лесах льются десятки светлых рек и непуганые звери подходят к людям и лижут им руки. Там золотоносный песок хрустит под копытами лошадей, а фазаны, будто вышитые из китайского шелка,

стаями взлетают над травой.

Люди шли на «Белые воды» через пустыню. Обессилев, крестьяне падали и ползли на окровавленных коленях. Серое солнце превращало в пепел траву. Вода в колодцах была такая соленая, что ее не пили даже верблюды.

Но люди все же дошли. Однажды ночью они услышали гром. Он гремел в далеких горах. Они услышали запах дождя. Блистали молнии, и колокольным звоном звенели навстречу путникам озера пресной воды.

Места, куда пришел Сеид, были так хороши, что он прожил там всю жизнь и никуда не хотел уходить. Единственный любимый сын Сеида уехал в далекий русский город учиться и не вернулся. Жена Сеида умерла. А Сеид возил из года в год на одноглазом верблюде соль на рыбные промыслы. Он редко говорил о сыне, но часто думал о нем. Он знал, что сын сделался мастером на эмбенских нефтяных промыслах. Там, говорят, люди качают из земли черную грязь, и грязь эта горит, как дрова.

Летом 1941 года Сеид узнал о войне. Мужчины уходили на запад, где шла война. На запад гнали табуны овец и лошадей. Однажды утром над лачугой Сеида пролетели невиданные серебряные гуси. Сосед кричал Сеиду, что это летят самолеты. Даже все птицы, казалось, улетели на запад.

Тогда двинулся на запад, на Эмбу, и старый Сеид. Он знал, что скоро умрет. Ему хотелось увидеть перед смертью сына и наговорить ему много сердитых слов за то, что он забыл отца.

Сеид то ехал верхом на верблюде, то шел пешком и вел верблюда за повод. Он пересек Казахстан с востока на запад. Он отдыхал только ночью вместе с пастухами около костров из сухого верблюжьего помета. Большие синие зарева пылали над краем степей, и пастухи таинственно говорили только одно слово: «Электричество!» «Электричество», – повторял Сеид и качал головой.

Он впервые увидел поезда и железные вагоны, нагруженные рудой и горами черного блестящего камня. Они шли всё туда же, на запад. Пастухи рассказывали Сеиду, что это везут уголь из Караганды и железо из Карсакпая. В Караганде, где десять лет назад только ветер пылил над ковылем, сейчас день и ночь работают глубокие шахты.

Сеид качал головой, удивлялся, а верблюд тревожно прислушивался к крику паровозов.

Сеид увидел многое – заводы, где делали твердый сахар, и заводы, откуда вывозили на грохочущих машинах медные болванки, блестевшие, как золото. Раньше этого не было. Он видел заводы, где лился в стальные чаши тусклый свинец, видел поля хлопка и риса, сады и пашни, большие города и каналы, струившие речные воды в глубину голодных степей. И этого раньше не было.

Всюду работали казахи – мужчины и женщины, старики и дети. Все они говорили Сеиду, что работают для армий, которые бьются с врагом далеко – за великой рекой Волгой, за Москвой. И все эти люди удивлялись путешествию Сеида, называли его «чудаком», а один старый казах даже обозвал Сеида «бездельником». Сеид поднял камень, чтобы ударить старика, но не ударил, а отбросил камень далеко в сторону, заплакал и пошел своей дорогой.

На шестидесятый день пути Сеид увидел среди пустыни черные деревянные башни. Они стояли среди озер с розовой соленой водой, и ветер разносил по окрестностям свежий запах нефти. Это была Эмба.

Сеид сошел с верблюда и поклонился на восток, в сторону Зайсана. Здесь спускалась ночь, а там, над лачугой Сеида, может быть, уже начинался рассвет. Тогда впервые в жизни Сеид запел дрожащим голосом. Он пел, как все кочевники, о том, что думал: о богатой своей родине и своей жизни, похожей на жизнь шелковичного червя в коконе, о войне и о маленьком плешивом немце, – Сеид никак не мог запомнить его проклятого имени, – возомнившем себя Тамерланом.

После кровавого Тамерлана оскверненная земля веками тосковала по умелым человеческим рукам, по семенам, брошенным в борозды, по мотыгам, журчанию воды, по своему утраченному плодородию. Мирные люди своими трудами вернули земле ее молодость.

«И как бы ни был хитер и зол плешивый немец, – пел Сеид, – мы не отдадим ему эту землю и растопчем его полчища тысячными табунами своих железных коней». На эмбенских промыслах Сеида окружили рабочие. Они дивились дряхлому старику, появившемуся из пустыни, и его облезлому верблюду. Сеид спросил их о своем сыне Габите Тулубаеве, но рабочие молчали.

Сеид укоризненно качал головой, – невежливо было не отвечать на вопросы старого человека. Тогда пришел инженер, и Сеид поклонился ему. Инженер взял Сеида за руку и сказал, что сын его погиб на войне и об этом говорили по воздуху из Москвы для всего мира потому, что сын Сеида был героем. И инженер поклонился Сеиду.

Сеид сел на землю, опустил голову, долго смотрел на свои желтые руки.

Потом он вытер рукавом глаза и сказал инженеру:

– Всю жизнь я трудился. Взгляни на мои глаза, – их съела соль. Шестьдесят дней я шел к сыну, чтобы отдохнуть хотя бы несколько дней перед смертью. Но разве теперь, когда земля дымится от войны, человек может ходить по земле, как гость, со своим верблюдом, смотреть, как катится пот по лицу соседа, и надеяться на отдых в сыновнем доме?

– Нет, не может, – ответил инженер.

– Друг, – сказал Сеид, – как ты думаешь, пригодится ли тебе на работе этот старый верблюд, слепой на левый глаз?

– Я думаю, пригодится, – ответил инженер.

– Хорошо, – сказал Сеид. – Но этот верблюд без меня не будет работать. Он издохнет от неудовольствия. Если ты берешь его – бери и меня.

– Хорошо, – сказал инженер.

Так старый Сеид стал рабочим на Эмбе. Он начал возить на своем верблюде не соль, а воду в глухие углы пустыни, где инженеры вели разведку нефти. И он был доволен.

Об этом в газете, выходящей на промыслах, была помещена небольшая заметка, но никто не обратил на нее особенного внимания, так как в дни войны такие случаи перестали быть редкостью.

1941

## Английская бритва

Всю ночь шел дождь, смешанный со снегом.

Северный ветер свистел в гнилых стеблях кукурузы. Немцы молчали. Изредка наш истребитель, стоявший у берега, бил из орудий в сторону Мариуполя. Тогда черный гром сотрясал степь. Снаряды неслись в темноту с таким звоном, будто распарывали над головой кусок натянутого холста.

На рассвете два бойца, в блестящих от дождя касках, привели в глинобитную хату, где помещался майор, старого низенького человека. Его клетчатый мокрый пиджак прилип к телу. На ногах волочились огромные комья глины.

Бойцы молча положили на стол перед майором паспорт, бритву и кисточку для бритья – все, что нашли при обыске у старика, – и сообщили, что он был задержан в овраге около колодца.

Старик был допрошен. Он назвал себя парикмахером Мариупольского театра армянином Аветисом и рассказал историю, которая потом долго передавалась по всем соседним частям.

Парикмахер не успел бежать из Мариуполя до прихода немцев. Он спрятался в подвале театра вместе с двумя маленькими мальчиками, сыновьями его соседки – еврейки. За день до этого соседка ушла в город за хлебом и не вернулась. Должно быть, она была убита во время воздушной бомбардировки.

Парикмахер провел в подвале, вместе с мальчиками, больше суток. Дети сидели, прижавшись друг к другу, не спали и все время прислушивались. Ночью младший мальчик громко заплакал. Парикмахер прикрикнул на него. Мальчик затих. Тогда парикмахер достал из кармана пиджака бутылку с тепловатой водой. Он хотел напоить мальчика, но тот не пил, отворачивался. Парикмахер взял его за подбородок – лицо у мальчика было горячее и мокрое – и насильно заставил напиться. Мальчик пил громко, судорожно и глотал вместе с мутной

водой собственные слезы.

На вторые сутки ефрейтор-немец и два солдата вытащили детей и парикмахера из подвала и привели к своему начальнику – лейтенанту Фридриху Кольбергу.

Лейтенант жил в брошенной квартире зубного врача. Вырванные оконные рамы были забиты фанерой. В квартире было темно и холодно – над Азовским морем проходил ледяной шторм.

– Что это за спектакль?

– Трое иудеев, господин лейтенант! – доложил ефрейтор.

– Зачем врать, – мягко сказал лейтенант. – Мальчишки – евреи, но этот старый урод – типичный грек, великий потомок эллинов, пелопоннесская обезьяна. Иду на пари. Как! Ты армянин? А чем ты это мне докажешь, гнилая говядина?

Парикмахер смолчал. Лейтенант толкнул носком сапога в печку последний кусок золотой рамы и приказал отвести пленных в соседнюю пустую квартиру. К вечеру лейтенант пришел в эту квартиру со своим приятелем – толстым летчиком Эрли. Они принесли две завернутые в бумагу большие бутылки.

– Бритва с тобой? – спросил лейтенант парикмахера. – Да? Тогда побрей головы еврейским купидонам!

– Зачем это, Фри? – лениво спросил летчик.

– Красивые дети, – сказал лейтенант. – Не правда ли? Я хочу их немного подпортить. Тогда мы их будем меньше жалеть.

Парикмахер обрил мальчиков. Они плакали, опустив головы, а парикмахер усмехался. Всегда, если с ним случалось несчастье, он криво усмехался. Эта усмешка обманула Кольберга, – лейтенант решил, что невинная его забава веселит старого армянина. Лейтенант усадил мальчиков за стол, откупорил бутылку и налил четыре полных стакана водки.

– Тебя я не угощаю, Ахиллес, – сказал он парикмахеру. – Тебе придется меня брить этим вечером. Я собираюсь в гости к вашим красавицам.

Лейтенант разжал мальчикам зубы и влил каждому в рот по полному стакану водки. Мальчики морщились, задыхались, слезы текли у них из глаз. Кольберг чокнулся с летчиком, выпил свой стакан и сказал:

– Я всегда был за мягкие способы, Эрли.

– Недаром ты носишь имя нашего доброго Шиллера, – ответил летчик. – Они сейчас будут танцевать у тебя маюфес.

– Еще бы!

Лейтенант влил детям в рот по второму стакану водки. Они отбивались, но лейтенант и летчик сжали им руки, лили водку медленно, следя за тем, чтобы мальчики выпивали ее до конца, и покрикивали:

– Так! Так! Вкусно? Ну еще раз! Превосходно!

У младшего мальчика началась рвота. Глаза его покраснели. Он сполз со стула и лег на пол. Летчик взял его под мышки, поднял, посадил на стул и влил в рот еще стакан водки. Тогда старший мальчик впервые закричал. Кричал он пронзительно и не отрываясь смотрел на лейтенанта круглыми от ужаса глазами.

– Молчи, кантор! – крикнул лейтенант.

Он запрокинул старшему мальчику голову и вылил ему водку в рот прямо из бутылки. Мальчик упал со стула и пополз к стене. Он искал дверь, но, очевидно, ослеп, ударился головой о косяк, застонал и затих.

– К ночи, – сказал парикмахер, задыхаясь, – они оба умерли. Они лежали маленькие и черные, как будто их спалила молния.

– Дальше! – сказал майор и потянул к себе приказ, лежавший на столе. Бумага громко зашуршала. Руки у майора дрожали.

– Дальше? – спросил парикмахер. – Ну, как хотите. Лейтенант приказал мне побрить его. Он был пьян. Иначе он не решился бы на эту глупость. Летчик ушел. Мы пошли с лейтенантом в его натопленную квартиру. Он сел к трюмо. Я зажег свечу в железном подсвечнике, согрел в печке воду и начал намыливать ему щеки. Подсвечник я поставил на стул около трюмо. Вы видели, должно быть, такие подсвечники: женщина с распущенными волосами держит лилию, и в чашечку лилии вставлена свеча. Я ткнул кистью с мыльной пеной в глаза лейтенанту. Он крикнул, но я успел ударить его изо всей силы железным подсвечником по виску.

– Наповал? – спросил майор.

– Да. Потом я пробирался к вам два дня.

Майор посмотрел на бритву.

– Я знаю, почему вы смотрите, – сказал парикмахер. – Вы думаете, что я должен был пустить в дело бритву. Это было бы вернее. Но, знаете, мне было жаль ее. Это старая английская бритва. Я работаю с ней уже десять лет.

Майор встал и протянул парикмахеру руку.

– Накормите этого человека, – сказал он. – И дайте ему сухую одежду.

Парикмахер вышел. Бойцы повели его к полевой кухне.

– Эх, брат, – сказал один из бойцов и положил руку на плечо парикмахера. – От слез сердце слабеет. К тому же и прицела не видно. Чтобы извести их всех до последнего, надо глаз иметь сухой. Верно я говорю?

Парикмахер кивнул, соглашаясь.

Истребитель ударил из орудий. Свинцовая вода вздрогнула, почернела, но тотчас к ней вернулся цвет отраженного неба – зеленоватый и туманный.

1941

Робкое сердце

Варвара Яковлевна, фельдшерица туберкулезного санатория, робела не только перед профессорами, но даже перед больными. Больные были почти все из Москвы – народ требовательный и беспокойный. Их раздражала жара, пыльный сад санатория, лечебные процедуры – одним словом, всё.

Из-за робости своей Варвара Яковлевна, как только вышла на пенсию, тотчас переселилась на окраину города, в Карантин. Она купила там домик под черепичной крышей и спряталась в нем от пестроты и шума приморских улиц. Бог с ним, с этим южным оживлением, с хриплой музыкой громкоговорителей, ресторанами, откуда несло пригорелой бараниной, автобусами, треском гальки на бульваре под ногами гуляющих.

В Карантине во всех домах было очень чисто, тихо, а в садиках пахло нагретыми листьями помидоров и полынью. Полынь росла даже на древней генуэзской стене, окружавшей Карантин. Через пролом в стене было видно мутноватое зеленое море и скалы. Около них весь день возился, ловил плетеной корзинкой креветок старый, всегда небритый грек Спиро. Он лез, не раздеваясь, в воду, шарил под камнями, потом выходил на берег, садился отдохнуть, и с его ветхого пиджака текла ручьями морская вода.

Единственной любовью Варвары Яковлевны был ее племянник и воспитанник Ваня Герасимов, сын умершей сестры.

Воспитательницей Варвара Яковлевна была, конечно, плохой. За это на нее постоянно ворчал сосед по усадьбе, бывший преподаватель естествознания, или, как он сам говорил, «естественной истории», Егор Петрович Введенский. Каждое утро он выходил в калошах в свой сад поливать помидоры, придирчиво рассматривал шершавые кустики, и если находил сломанную ветку или валявшийся на дорожке зеленый помидор, то разражался грозной речью против соседских мальчишек.

Варвара Яковлевна, копаясь в своей кухоньке, слышала его гневные возгласы, и у нее замирало сердце. Она знала, что сейчас Егор Петрович окликнет ее и скажет, что Ваня опять набезобразничал у него в саду и что у такой

воспитательницы, как она, надо отбирать детей с милицией и отправлять в исправительные трудовые колонии. Чем, например, занимается Ваня? Вырезает из консервных жестянок пропеллеры, запускает их в воздух при помощи катушки и шнурка, и эти жужжащие жестянки летят в сад к Егору Петровичу, ломают помидоры, а иной раз и цветы – бархатцы и шалфей. Подумаешь, изобретатель! Циолковский! Мальчишек надо приучать к строгости, к полезной работе. А то купаются до тошноты, дразнят старого Спиро, лазают по генуэзской стене. Банда обезьян, а не мальчишки! А еще советские школьники!

Варвара Яковлевна отмалчивалась. Егор Петрович был, конечно, неправ, она это хорошо знала. Ее Ваня – мальчик тихий. Он все что-то мастерил, рисовал, посапывая носом, и охотно помогал Варваре Яковлевне в ее скудном, но чистеньком хозяйстве.

Воспитание Варвары Яковлевны сводилось к тому, чтобы сделать из Вани доброго и работящего человека. В бога Варвара Яковлевна, конечно, не верила, но была убеждена, что существует таинственный закон, карающий человека за все зло, какое он причинил окружающим.

Когда Ваня подрос, Егор Петрович неожиданно потребовал, чтобы мальчик учился у него делать гербарии и определять растения. Они быстро сдружились. Ване нравились полутемные комнаты в доме Егора Петровича, засушенные цветы и листья в папках с надписью «Крымская флора» и пейзажи на стенах, сделанные сухо и приятно, – виды водопадов и утесов, покрытых плющом.

После десятилетки Ваню взяли в армию, в летную школу под Москвой. После службы в армии он мечтал поступить в художественную школу, может быть даже окончить академию в Ленинграде. Егор Петрович одобрял эти Ванины мысли. Он считал, что из Вани выйдет художник-ботаник, или, как он выражался, «флорист». Есть же художники-анималисты, бесподобно рисующие зверей. Почему бы не появиться художнику, который перенесет на полотно все разнообразие растительного мира!

Один только раз Ваня приезжал в отпуск. Варвара Яковлевна не могла на него наглядеться: синяя куртка летчика, темные глаза, голубые петлицы, серебряные крылья на рукавах, а сам весь черный, загорелый, но все такой же застенчивый. Да, мало переменила его военная служба!

Весь отпуск Ваня ходил с Егором Петровичем за город, в сухие горы, собирал растения и много рисовал красками. Варвара Яковлевна развесила его рисунки на стенах. Сразу же в доме повеселело, будто открыли много маленьких окон и за каждым из них засинел клочок неба и задул теплый ветер.

Война началась так странно, что Варвара Яковлевна сразу ничего и не поняла. В воскресенье она пошла за город, чтобы нарвать мяты, а когда вернулась, то только ахнула. Около своего дома стоял на табурете Егор Петрович и мазал белую стенку жидкой грязью, разведенной в ведре. Сначала Варвара Яковлевна подумала, что Егор Петрович совсем зачудил (чудачества у него были и раньше), но тут же увидела и всех остальных соседей. Они тоже торопливо замазывали коричневой грязью – под цвет окружающей земли – стены своих домов.

А вечером впервые не зажглись маяки. Только тусклые звезды светили в море. В домах не было ни одного огня. До рассвета внизу, в городе, лаяли, как в темном погребе, встревоженные собаки. Над головой все гудел-кружился самолет, охраняя город от немецких бомбардировщиков.

Все было неожиданно, страшно. Варвара Яковлевна сидела до утра на пороге дома, прислушивалась и думала о Ване. Она не плакала. Егор Петрович шагал по своему саду и кашлял. Иногда он уходил в дом покурить, но долго там не оставался и снова выходил в сад. Изредка с невысоких гор задувал ветер, доносил блеяние коз, запах травы, и Варвара Яковлевна говорила про себя: «Неужто война?»

Перед рассветом с моря долетел короткий гром. Потом второй, третий… По всем дворам торопливо заговорили люди – Карантин не спал. Никто не мог объяснить толком, что происходило за черным горизонтом. Вся говорили только, что ночью, в темноте, человеку легче на сердце, безопаснее, будто ночь бережет людей от беды.

Быстро прошло тревожное, грозное лето. Война приближалась к городу. От Вани не было ни писем, ни телеграмм. Варвара Яковлевна, несмотря на старость, добровольно вернулась к прежней работе: служила сестрой в госпитале. Так же, как все, она привыкла к черным самолетам, свисту бомб, звону стекла, всепроникающей пыли после взрывов, к темноте, когда ей приходилось ощупью кипятить в кухоньке чай.

Осенью немцы заняли город. Варвара Яковлевна осталась в своем домике на Карантине, не успела уйти. Остался и Егор Петрович.

На второй день немецкие солдаты оцепили Карантин. Они молча обходили дома, быстро заглядывали во все углы, забирали муку, теплые вещи, а у Егора Петровича взяли даже старый медный микроскоп. Все это они делали так, будто в домах никого не было, даже ни разу не взглянув на хозяев.

Во рву за Ближним мысом почти каждый день расстреливали евреев; многих из них Варвара Яковлевна знала.

У Варвары Яковлевны начала дрожать голова. Варвара Яковлевна закрыла в доме ставни и переселилась в сарайчик для дров. Там было холодно, но все же лучше, чем в разгромленных комнатах, где в окнах не осталось ни одного стекла.

Позади генуэзской стены немцы поставили тяжелую батарею. Орудия были наведены на море. Оно уже по-зимнему кипело, бесновалось. Часовые приплясывали в своих продувных шинелях, посматривали вокруг красными от ветра глазами, покрикивали на одиноких пешеходов.

Однажды зимним утром с тяжелым гулом налетели с моря советские самолеты. Немцы открыли огонь. Земля тряслась от взрывов. Сыпалась черепица. Огромными облаками вспухала над городом пыль, рявкали зенитки, в стены швыряло оторванные ветки акаций. Кричали и метались солдаты в темных серых шинелях, свистели осколки, в тучах перебегали частые огни разрывов. А в порту в пакгаузах уже шумел огонь, коробил цинковые крыши.

Егор Петрович, услышав первые взрывы, торопливо вышел в сад, протянул трясущиеся руки к самолетам – они мчались на бреющем полете над Карантином, – что-то закричал, и по его сухим белым щекам потекли слезы.

Варвара Яковлевна открыла дверь сарайчика и тоже смотрела, вся захолодев, как огромные ревущие птицы кружили над городом и под ними на земле взрывались столбы желтого огня.

– Наши! – кричал Егор Петрович. – Это наши, Варвара Яковлевна! Да разве вы не видите? Это они!

Один из самолетов задымил, начал падать в воду. Летчик выбросился с парашютом. Тотчас в море к тому месту, где он должен был упасть, помчались, роя воду и строча из пулеметов, немецкие катера.

Тяжелая немецкая батарея была сильно разбита, засыпана землей. На главной улице горел старинный дом с аркадами, где помещался немецкий штаб. В порту тонул, дымясь, румынский транспорт, зеленый и пятнистый, как лягушка. На улицах валялись убитые немцы.

После налета пробралась из города на Карантин пожилая рыбачка Паша и рассказала, что убита какая-то молодая женщина около базара и больной старичок-провизор.

Варвара Яковлевна не могла оставаться дома. Она пошла к Егору Петровичу. Он стоял около стены, заросшей диким виноградом, и бессмысленно стирал тряпкой белую пыль с листьев. Листья были сухие, зимние, и, вытирая листья, Егор Петрович все время их ломал.

– Что же это, Егор Петрович? – тихо спросила Варвара Яковлевна. – Значит, свои своих… До чего же мы дожили, Егор Петрович?

– Так и надо! – ответил Егор Петрович, и борода его затряслась. – Не приставайте ко мне. Я занят.

– Не верю я, что так надо, – ответила Варвара Яковлевна. – Не могу я понять, как это можно занести руку на свое, родное…

– А вы полагаете, им это было легко? Великий подвиг! Великий!

– Не умещается это у меня в голове, Егор Петрович. Глупа я, стара, должно быть…

Егор Петрович долго молчал и вытирал листья.

– Господи, господи, – сказала Варвара Яковлевна, – что же это такое? Хоть бы вы мне объяснили, Егор Петрович.

Но Егор Петрович ничего объяснять не захотел. Он махнул рукой и ушел в дом.

Перед вечером по Карантинной улице прошли трое немецких солдат. Один нес пук листовок, другой – ведро с клейстером. Сзади плелся, все время сплевывая, рыжий сутулый солдат с автоматом.

Солдаты наклеили объявление на столб около дома Варвары Яковлевны и ушли. Никто к объявлению не подходил. Варвара Яковлевна подумала, что, должно быть, никто и не заметил, как немцы клеили эту листовку. Она накинула рваную телогрейку и пошла к столбу. Уже стемнело, и если бы не узкая желтая полоска на западе среди разорванных туч, то Варвара Яковлевна вряд ли прочла бы эту листовку.

Листовка была еще сырая. На ней было напечатано:

«За срыванье – расстрел. От коменданта. Советские летчики произвели бомбардирование мирного населения, вызвав жертвы, пожары квартир и разрушения. Один из летчиков, виновных в этом, взят в плен. Его зовут Иван Герасимов. Германское командование решило поступить с этим варваром как с врагом обывателей и расстрелять его. Дабы жители имели возможность видеть большевика, который убивал их детей и разрушал имущество, завтра в семь часов утра его проведут по главной улице города. Германское командование уверено, что благонамеренные жители окажут презрение извергу.

Комендант города обер-лейтенант Зус».

Варвара Яковлевна оглянулась, сорвала листовку, спрятала ее под телогрейку и торопливо пошла к себе в сарайчик.

Первое время она сидела в оцепенении и ничего не понимала, только перебирала дрожащими пальцами бахрому старенького серого платка. Потом у нее начала болеть голова, и Варвара Яковлевна заплакала. Мысли путались. Что же это такое? Неужели его, Ваню, немцы завтра убьют где-нибудь на грязном дворе, около поломанных грузовиков! Почему-то мысль, что его убьют обязательно во дворе, около грузовиков, где воняет бензином и земля лоснится от автола, все время приходила в голову, и Варвара Яковлевна никак не могла ее отогнать.

Как спасти его? Чем помочь? Зачем она сорвала эту листовку со столба? Чего она испугалась? Немцев? Нет. Ей было совестно перед своими. Она хотела скрыть листовку от Егора Петровича, от всех. Немцы убьют Ваню, могут убить и ее, Варвару Яковлевну, за то, что она сорвала этот липкий клочок бумаги. А свои? Свои, кроме чудака Егора Петровича, никогда не простят ей эту убитую женщину, и несчастного старичка-провизора, и разбитые в мусор дома, где они жили столько лет, дома, где все знакомо – от облупившейся краски на перилах до ласточкиного гнезда под оконным карнизом. Ведь все знают, что Ваня – ее воспитанник, а многие даже уверены, что он ее сын.

Варвара Яковлевна как будто уже чувствовала на себе недобрые пристальные взгляды, слышала свистящий шепот в спину. Как она будет смотреть всем в глаза! Лучше бы Ваня убил ее, а не этих людей. А Егор Петрович еще говорил, что это – великий подвиг.

Варвара Яковлевна все перебирала бахрому платка, все плакала, пока не начало светать.

Утром она крадучись вышла из сарайчика и спустилась в город. Ветер свистел, раздувая над улицами золу, пепел. В черной мрачности, во мгле шумело море. Казалось, что ночь не ушла, а только притаилась, как воровка, в подворотнях и дышит оттуда плесенью, гарью, окалиной.

Теперь, на рассвете, у Варвары Яковлевны все внутри будто выжгло слезами, и ничто уже ее не пугало. Пусть убьют немцы, пусть ее возненавидят свои – все равно. Лишь бы увидеть Ваню, хоть родинку на его щеке, а потом умереть.

Варвара Яковлевна шла торопливо, глядя себе под ноги, и не замечала, что позади нее шел Егор Петрович. Не видела она и старого Спиро, пробиравшегося туда же, на главную улицу, и веснушчатую рыбачку Пашу. Варвару Яковлевну не покидала надежда, что, может быть, никто не придет смотреть, как будут вести ее Ваню. Придет только она одна, и ничто не помешает ей его увидеть.

Но Варвара Яковлевна ошиблась. Серые озябшие люди уже жались под стенами домов.

Варвара Яковлевна боялась смотреть им в глаза. Она не подымала голову, все ждала обидного окрика. Иначе она бы увидела, как переменился ее родной город. Увидела бы трясущиеся головы людей, сухие волосы, глубокие морщины, красные веки.

Варвара Яковлевна остановилась около афишного столба, спряталась за ним, вся съежилась, ждала. Обеими руками она комкала старенькую шелковую сумочку, где, кроме носового платка и ключа от сарайчика, ничего не было.

На столбе висели клочья афиш. Они извещали о событиях как будто тысячелетней давности – симфонии Шостаковича, гастролях чтеца Яхонтова.

Люди всё подходили молча и торопливо. Было так тихо, что даже до главной улицы доносились раскаты прибоя. Он бил о разрушенный мол, взлетал серой пеной к тучам, откатывался и снова бил в мол соленой водой.

Потом толпа вдруг вздохнула, вздрогнула и придвинулась к краю тротуара. Варвара Яковлевна подняла глаза.

За спинами людей, закрывавших от нее мостовую, она увидела в глубине улицы серые каски, стволы винтовок. Все это медленно приближалось, слегка покачиваясь и гремя сапогами.

Варвара Яковлевна схватилась рукой за столб, подалась вперед, вытянула худенькую шею.

Кто-то взял ее за локоть и быстро сказал: «Только не кричите, не выдавайте себя!» Варвара Яковлевна не оглянулась, хотя и узнала голос Егора Петровича.

Она смотрела на темную приближающуюся толпу. Среди серых шинелей синел комбинезон летчика. Варвара Яковлевна видела мутно, неясно. Она вытерла глаза, судорожно втиснула носовой платок в сумочку и наконец увидела: позади коренастого немецкого офицера шел он, ее Ваня. Шел спокойно, прямо смотрел вперед, но на его лице уже не было того выражения застенчивости, к которому Варвара Яковлевна так привыкла.

Она смотрела, задохнувшись, сдерживая дыхание, глотая слезы. Это был он, Ваня, все такой же загорелый, милый, но очень похудевший и с маленькими горькими морщинами около губ.

Внезапно руки у Варвары Яковлевны задрожали сильнее, и она уронила сумочку. Она увидела, как люди в толпе начали быстро снимать шапки перед Ваней, а многие прижимали к глазам рукава.

А потом Варвара Яковлевна увидела, как на мокрую от дождя мостовую неизвестно откуда упала и рассыпалась охапка сухих крымских цветов. Немцы пошли быстрее. Ваня улыбнулся кому-то, и Варвара Яковлевна вся расцвела сквозь слезы. Так до сих пор он улыбался только ей одной.

Когда отряд поравнялся с Варварой Яковлевной, толпа перед ней расступилась, несколько рук осторожно схватили ее, вытолкнули вперед на мостовую, и она очутилась в нескольких шагах от Вани. Он увидел ее, побледнел, но ни одним движением, ни словом не показал, что он знает эту трясущуюся маленькую старушку. Она смотрела на него умоляющими, отчаянными глазами.

– Прости меня, Ваня! – сказала Варвара Яковлевна и заплакала так горько, что даже не заметила, как быстро и ласково взглянул на нее Ваня, не услышала, как немецкий офицер хрипло крикнул ей: «Назад!» – и выругался, и не почувствовала, как Егор Петрович и старый Спиро втащили ее обратно в толпу и толпа тотчас закрыла ее от немцев. Она только помнила потом, как Егор Петрович и Спиро вели ее через пустыри по битой черепице, среди белого от извести чертополоха.

– Не надо, – бормотала Варвара Яковлевна. – Пустите меня. Я здесь останусь. Пустите!

Но Егор Петрович и Спиро крепко держали ее под руки и ничего не отвечали.

Егор Петрович привел Варвару Яковлевну в сарайчик, уложил на топчан, навалил на нее все, что было теплого, а Варвара Яковлевна дрожала так, что у нее стучали зубы, старалась стиснуть изо всех сил зубами уголок старенького серого платка, шептала: «Что же это такое, господи? Что же это?» – и из горла у нее иногда вырывался тонкий писк, какой часто вырывается у людей, сдерживающих слезы.

Как прошел этот день, Варвара Яковлевна не помнила. Он был темный, бурный, сырой – такие зимние дни проходят быстро. Не то они были, не то их и вовсе не было. Все настойчивее гудело море. Ветер рвал сухой кустарник на каменных мысах, швырялся полосами дождя.

Ночью в гул моря неожиданно врезался тяжелый гром, завыли сирены и снаряды, загрохотали взрывы, эхо пулеметного огня застучало в горах. Егор Петрович вбежал в сарайчик к Варваре Яковлевне и что-то кричал ей в темноте. Но она не могла понять, что он кричит, пока не услышала, как вся ненастная ночь вдруг загремела отдаленным протяжным криком «ура». Он рос, этот крик, катился вдоль берега, врывался в узкие улицы Карантина, скатывался по спускам в город.

– Наши! – кричал Егор Петрович, и желтый кадык на его шее ходил ходуном. Егор Петрович всхлипывал, смеялся, потом снова начинал всхлипывать.

К рассвету город был занят советским десантом. И десант этот был возможен потому, что советские летчики разбомбили, уничтожили немецкие батареи.

Так сказал Варваре Яковлевне Егор Петрович. Сейчас он возился в кухоньке у Варвары Яковлевны, кипятил ей чай.

– Значит, и Ваня мой тоже?… – спросила Варвара Яковлевна, и голос ее сорвался.

– Ваня – святой человек, – сказал Егор Петрович. – Теперь в нашем городе все дети – ваши внуки, Варвара Яковлевна. Большая семья! Ведь это Ваня спас их от смерти.

Варвара Яковлевна отвернулась к стене и снова заплакала, но так тихо, что Егор Петрович ничего не расслышал.

Ему показалось, что Варвара Яковлевна уснула.

Чайник на кухне кипел, постукивал крышкой. Среди низких туч пробилось солнце. Оно осветило пар, что бил из чайного носика, и тень от струи пара без конца улетала, струилась по белой стене голубоватым дымом и никак не могла улететь.

1942

## Кружевница Настя

Ночью в горах Алатау глухо гремела гроза.

Испуганный громом, большой зеленый кузнечик прыгнул в окно госпиталя и сел на кружевную занавеску. Раненый лейтенант Руднев поднялся на койке и долго смотрел на кузнечика и на занавеску. На ней вспыхивал от синих пронзительных молний сложный узор – пышные розаны и маленькие хохлатые петухи.

Наступило утро. Грозовое желтое небо все еще дымилось за окном. Две радуги-подруги опрокинулись над вершинами. Мокрые цветы диких пионов горели на подоконнике, как раскаленные угли. Было душно. Пар подымался над сырыми скалами. В пропасти рычал и перекатывал камни ручей.

– Вот она, Азия! – вздохнул Руднев. – А кружево-то на занавеске наше, северное. И плела его какая-нибудь красавица Настя.

– Почему вы так думаете?

Руднев улыбнулся.

– Мне вспомнилась, – сказал он, – история, случившаяся на моей батарее под Ленинградом.

Он рассказал мне эту историю.

Летом 1940 года ленинградский художник Балашов уехал охотиться и работать на пустынный наш Север.

В первой же понравившейся ему деревушке Балашов сошел со старого речного парохода и поселился в доме сельского учителя.

В этой деревушке жила со своим отцом – лесным сторожем – девушка Настя, знаменитая в тех местах кружевница и красавица. Настя была молчалива и сероглаза, как все девушки-северянки.

Однажды на охоте отец Насти неосторожным выстрелом ранил Балашова в грудь. Раненого принесли в дом сельского учителя. Удрученный несчастьем, старик послал Настю ухаживать за раненым.

Настя выходила Балашова, и из жалости к раненому родилась первая ее девичья любовь. Но проявления этой любви были так застенчивы, что Балашов ничего не заметил.

У Балашова в Ленинграде была жена, но он ни разу никому не рассказывал о ней, даже Насте. Все в деревне были убеждены, что Балашов человек одинокий.

Как только рана зажила, Балашов уехал в Ленинград. Перед отъездом он пришел без зова в избу к Насте поблагодарить ее за заботу и принес ей подарки. Настя приняла их.

Балашов впервые попал на Север. Он не знал местных обычаев. Они на Севере очень устойчивы, держатся долго и не сразу сдаются под натиском нового времени. Балашов не знал, что мужчина, который пришел без зова в избу к девушке и принес ей подарок, считается, если подарок принят, ее женихом. Так на Севере без слов говорят о любви.

Настя робко спросила Балашова, когда же он вернется из Ленинграда к ней в деревню. Балашов, ничего не подозревая, шутливо ответил, что вернется очень скоро.

Балашов уехал. Настя ждала его. Прошло светлое лето, прошла сырая и горькая осень, но Балашов не возвращался. Нетерпеливое радостное ожидание сменилось у Насти тревогой, отчаянием, стыдом. По деревне уже шептались, что жених ее обманул. Но Настя не верила этому. Она была убеждена, что с Балашовым случилось несчастье.

Весна принесла новые муки. Пришла она поздно, тянулась очень долго. Реки широко разлились и всё никак не хотели входить в берега. Только в начале июня прошел мимо деревушки, не останавливаясь, первый пароход.

Настя решила тайком от отца бежать в Ленинград и разыскать там Балашова. Она ночью ушла из деревушки. Через два дня она дошла до железной дороги и узнала на станции, что утром этого дня началась война. Через огромную грозную страну никогда еще не видавшая поезда крестьянская девушка добралась до Ленинграда и разыскала квартиру Балашова.

Насте отворила дверь жена Балашова, худая женщина к пижаме, с папироской в зубах. Она с недоумением осмотрела Настю и сказала, что Балашова нет дома. Он на фронте под Ленинградом.

Настя узнала правду – Балашов был женат. Значит, он обманул ее, насмеялся над ее любовью. Насте было страшно говорить с женой Балашова. Ей было страшно в городской квартире, среди шелковых пыльных диванов, рассыпанной пудры, настойчивых телефонных звонков.

Настя убежала. Она шла в отчаянии по величественному городу, превращенному в вооруженный лагерь. Она не замечала ни зенитных пушек на площадях, ни памятников, заваленных мешками с землей, ни вековых прохладных садов, ни торжественных зданий.

Она вышла к Неве. Река несла черную воду в уровень с гранитными берегами. Вот здесь, в этой воде, должно быть, единственное избавление и от невыносимой обиды, и от любви.

Настя сняла с головы старенький платок, подарок матери, и повесила его на перила. Потом она поправила тяжелые косы и поставила ногу на завиток перил. Кто-то схватил ее за руку. Настя обернулась. Худой человек с полотерными щетками под мышкой стоял сзади. Его рабочий костюм был забрызган желтой краской.

Полотер только покачал головой и сказал:

– В такое время что задумала, дура!

Человек этот – полотер Трофимов – увел Настю к себе и сдал на руки своей жене – лифтерше, женщине шумной, решительной, презиравшей мужчин.

Трофимовы приютили Настю. Она долго болела, лежала у них в каморке. От лифтерши Настя впервые услышала, что Балашов ни в чем перед ней не виноват, что никто не обязан знать их северные обычаи и что только такие «тетехи», как она, Настя, могут без памяти полюбить первого встречного.

Лифтерша ругала Настю, а Настя радовалась. Радовалась, что она не обманута, и все еще надеялась увидеть Балашова.

Полотера вскоре взяли в армию, и лифтерша с Настей остались одни.

Когда Настя выздоровела, лифтерша устроила ее на курсы медицинских сестер. Врачи – учителя Насти – были поражены ее способностью делать перевязки, ловкостью ее тонких и сильных пальцев. «Да ведь я кружевница», – отвечала она им, как бы оправдываясь.

Прошла осадная ленинградская зима с ее железными ночами, канонадой. Настя окончила курсы, ждала отправки на фронт и по ночам думала о Балашове, о старом отце, – он до конца жизни, должно быть, так и не поймет, зачем она ушла тайком из дому. Бранить ее не будет, все простит, но понять – не поймет.

Весной Настю наконец отправили на фронт под Ленинград. Всюду – в разбитых дворцовых парках, среди развалин, пожарищ, в блиндажах, на батареях, в перелесках и на полях она искала Балашова, спрашивала о нем.

На фронте Настя встретила полотера, и болтливый этот человек рассказал бойцам из своей части о девушке-северянке, ищущей на фронте любимого человека. Слух об этой девушке начал быстро расти, шириться, как легенда. Он переходил из части в часть, с одной батареи на другую. Его разносили мотоциклисты, водители машин, санитары, связисты.

Бойцы завидовали неизвестному человеку, которого ищет девушка, и вспоминали своих любимых. У каждого были они в мирной жизни, и каждый берег в душе память о них. Рассказывая друг другу о девушке-северянке, бойцы меняли подробности этой истории в зависимости от силы воображения.

Каждый клялся, что Настя – девушка из его родных мест. Украинцы считали ее своей, сибиряки тоже своей, рязанцы уверяли, что Настя, конечно, рязанская, и даже казахи из далеких азиатских степей говорили, что эта девушка пришла на

фронт, должно быть, из Казахстана.

Слух о Насте дошел и до береговой батареи, где служил Балашов. Художник, так же как и бойцы, был взволнован историей неизвестной девушки, ищущей любимого, был поражен силой ее любви. Он часто думал об этой девушке и начал завидовать тому человеку, которого она любит. Откуда он мог знать, что завидует самому себе?

Личная жизнь не удалась Балашову. Из женитьбы ничего путного не вышло. А вот другим везет! Всю жизнь он мечтал о большой любви, но теперь уже было поздно думать об этом. На висках седина…

Случилось так, что Настя нашла наконец батарею, где служил Балашов, но не нашла Балашова – он был убит за два дня до того и похоронен в сосновом лесу на берегу залива.

Руднев замолчал.

– Что же было потом?

– Потом? – переспросил Руднев. – А потом было то, что бойцы дрались, как одержимые, и мы снесли к черту линию немецкой обороны. Мы подняли ее на воздух и обрушили на землю в виде пыли и грязи. Я редко видел людей в таком священном, неистовом гневе.

– А Настя?

– Что Настя! Она отдает всю свою заботу раненым. Лучшая сестра на нашем участке фронта.

1942

## Белые кролики

Ганс Вермель считался самым опытным вором в роте лейтенанта Кнопфа. В этом не было, конечно, ничего удивительного. Несколько удивляло всех только то обстоятельство, что внешность Вермеля не соответствовала обычным представлениям о воре мирного времени. Это был вялый, неповоротливый солдат с тусклыми глазами. Говорил он мало и неохотно. Ходил, грохоча сапогами, дышал хрипло, черные его пальцы были похожи на клещи для сбрасывания с крыш зажигательных бомб. Но в военное время эти качества не мешали Вермелю ловить кур и ловко душить их тремя пальцами.

У всех людей есть свои странности. Были они и у Вермеля. Он долго, как собака, обнюхивал все награбленные вещи. Те из них, запах которых ему не нравился, он отбрасывал в сторону. Кроме того, он мог есть непрерывно в течение целого дня. Для того чтобы вновь проголодаться, ему надо было только раз сильно рыгнуть. Одним словом, это был добротный образчик фашистской расы с ее свинцовыми внимательными глазками, свойственными жестоким и глупым животным.

В одном из южных советских городов Вермель в поисках пищи забрел в брошенную ветеринарную лабораторию. У выбитой двери стоял черномазый часовой-итальянец. Он загородил Вермелю дорогу штыком. Вермель ударил по винтовке, и она громко стукнула итальянца в челюсть. Итальянец закричал, но Вермель дал ему пинка в грудь.

– Молчи, макаронщик! Вшивый Муссолини!

Итальянец поднял винтовку, плюнул, выругался и ушел с поста, рискуя быть повешенным за нарушение обязанностей часового.

В лаборатории стоял запах холодных кислот. Осколки стеклянных колб, толщиной в папиросную бумагу, валялись на полу. В углу комнаты стояли клетки.

Вермель понюхал воздух и, грохоча сапогами, пошел к ним, – от клеток пахло теплой шерстью и навозом. Суетливые белые кролики, втиснув носы между прутьев, обнюхивали немецкого солдата и смотрели на него розовыми глазками. Вермель сосчитал – кроликов было восемь. Он раздвинул прутья клетки и вытащил за уши первого кролика, потом второго, третьего. Это был обед для

взвода, – праздничный обед из рассыпчатого, нежного мяса!

Рота Кнопфа стояла рядом с ротой итальянских егерей лейтенанта Спалетти. К вечеру в роте Спалетти начались злорадные разговоры о том, что соседи-немцы обожрались кроликами.

Часовой доложил Спалетти о немецком солдате, напавшем на него из-за угла. Немец выбил у часового винтовку и украл из лаборатории всех кроликов. Он убил их тут же, ударяя головой о мраморный стол, и унес, завернув в свою вшивую куртку. Спалетти пригрозил часовому расстрелом и послал вестового к лейтенанту Кнопфу.

Десять немцев, обожравшихся кроликами, лежали вповалку в зале разрушенного кино среди других солдат, не получивших кроличьего мяса и потому переполненных завистью. Вермель рыгал и лениво сплевывал.

Дверь распахнулась. Кто-то ударил ее снаружи сапогом.

– Встать! – закричал визгливым женским голосом лейтенант Кнопф и появился в дверях, пропуская полкового врача. – Встать, собачьи дети!

Солдаты тяжело встали и вытянулись. Кнопф подтянул сапоги и прошелся на почтительном расстоянии вдоль шеренги солдат.

– Ну-ка, мальчики, – сказал он ласково, – кто это из вас украл кроликов и даже не захотел угостить своего лейтенанта хотя бы задней ногой?

Солдаты молчали. Речь лейтенанта им явно не нравилась.

– Кто жрал кроликов? – крикнул лейтенант, и голос его сорвался.

Солдаты переминались с ноги на ногу и молчали.

– Я вижу, что вы так набили себе брюхо, что не можете пошевелить языком, – сказал лейтенант спокойно. – Каждый немецкий солдат имеет право есть птицу и скот, отобранные у жителей. Но надо же соображать, что ты суешь себе в рот!

А вы знаете, сукины дети, что ваши кролики были заражены бешенством для опытных целей?

Солдаты вздрогнули, но промолчали.

– Кто жрал кроликов?

Солдаты не двигались.

– Не валяйте дурака, – сказал наконец полковой врач. – Вы не итальянцы. Мы заботимся о вашем благе. Тех, кто ел этих кроликов, мы отделим от остальных, отправим в тыл и сделаем им прививку от бешенства.

– В тыл! – воскликнул лейтенант. – Вот видите, что вы наделали, сволочи! В последний раз я приказываю: кто жрал кроликов, три шага вперед!

Вермель сделал шаг вперед. Лейтенант отскочил. Вся шеренга дрогнула, двинулась и отпечатала три гусиных тяжелых шага. Двадцать два человека! Двадцать два человека ухитрились съесть восьмерых кроликов!

Дальнейшие события развивались вполне благоприятно для двадцати двух солдат. Им приказали временно сдать оружие. Десять виновников молчаливо приняли в свой круг двенадцать голодных и неповинных в «кроличьей истории» солдат, – ведь каждому хочется побывать в тылу.

Все двадцать два человека внезапно поняли, почуяв близость тыловой жизни, как им осточертела эта война. Это было совсем не то, что раньше. Не веселая автомобильная прогулка по Дании. Там рукава их походных курток лоснились и пахли прогорклым молоком, как у молочниц, – так часто солдаты вытирали рты после выпитых сливок. И это была не Франция, где патроны пылились в подсумках, и не Бельгия, где не было даже минированных дорог.

Здесь мороз, скрипя под ногами, заставлял рвать в кровь собственные уши. Здесь дрались из-за каждого куста. Здесь все выло и взрывалось вокруг, и земля дымилась на десятки километров, как кратер огромного вулкана. К черту такую войну! После нее, пожалуй, не удастся обставить даже двухкомнатную квартиру в своем родном городе, и вместо двуспальной кровати придется валяться под

кривым березовым крестом и слушать вой русской метели. К черту такую войну!

Ночью солдат выстроили и повели. Они охотно вскинули на плечи свои вещевые мешки и начали сосредоточенно топать по мерзлой русской земле. Но повели их не в тыл. Чем дальше они шли, тем больше недоумевали, пока не поняли, что ведут их в сторону фронта, к большому оврагу, где только вчера они устраивали пулеметные гнезда.

– Что это значит? Что это за фокусы? – пробормотал один из солдат.

Остальные поежились, но промолчали.

Это значило, что генерал, выслушав донесение о съеденных бешеных кроликах, крикнул, что он плюет на прививки, и приказал в эту же ночь расстрелять двадцать два солдата фюрера и закопать их трупы поглубже в землю. Он был седой и хитрый, этот генерал. Он сразу же догадался, что двадцать два человека не могли съесть восьмерых кроликов и что теперь уже нельзя найти виновных.

Несколько пулеметных очередей – и со всеми было поступлено одинаково. Так окончили жизнь двадцать два немецких солдата, не совершивших на земле всего, что им было предназначено и обещано фюрером, и сохранивших двадцать две пули в подсумках русских бойцов.

И такова уж человеческая справедливость, – итальянцы смеялись не над теми, кто съел бешеных кроликов, а, наоборот, над теми двенадцатью солдатами, которые их не ели и попали впросак. Здорово их надул полковой доктор.

1942

## Спор в вагоне

Спор начался около Барнаула, когда поезд медленно проходил, громыхая на стыках, по мосту через Обь.

Пассажиры бросились к окнам, чтобы посмотреть на великую сибирскую реку, но ничего не увидели, кроме мокрого снега. Ветер нес его белым дымом, и только внизу, у самых устоев моста, можно было увидеть свинцовую воду. От нее поднимался холодный пар.

Боец с костылем отвернулся от окна, сплюнул, скрутил цигарку и сказал с досадой:

– Ну и климат у вас в Сибири. Второй день валит снег с дождем, будь он проклят!

– Гляди, какой самокритик! – пробормотал высокий небритый боец. – Сибирь ему не с руки. Богаче Сибири нету страны на земле. Я, бывало, еду через лес к себе на кордон, так у меня на колесах одной давленой ягоды на два пальца налипнет.

– Какой ягоды? – спросила девочка с двумя косичками.

– Известно какой – земляники.

– Эх ты, чалдон, – вздохнул боец с костылем. – Пожил бы у нас под Владимиром, тогда бы иное запел.

– Каждая курица, милые, свой насест хвалит, – сказала старуха в огромных валенках. – По мне, лучше Алтая нет земли ни в каких государствах. Алтайские кони – огонь! У кого сердце слабое, тот на них ездить не смеет.

Спор разгорался. Раненые бойцы, ехавшие в недолгий отпуск, и пассажиры начали наперебой хвалить родные места. И удивительно было то, что каждый из них был прав. Молчал только боец-казах с рукой на перевязи. Сначала он застенчиво улыбался, потом наклонился ко мне и сказал шепотом:

– На родину еду!

Я взглянул на него, и он повторил:

– В Джаркент, на родину еду. На месяц. Одни люди говорят: твоя страна – пустыня. Другие говорят: твоя страна, Исмаил, засохла от солнца, в ней дождь

не падает с неба. Ай, мало знают люди!

Он помолчал.

– Казах едет верхом, поет, – снова сказал он мне тем же таинственным шепотом. – Его не видно в степи, так далеко он от тебя едет, а голос его слышно совсем здесь, рядом. Как думаешь, почему? Потому что нигде нет такого воздуха, как в Казахстане. Много воздуха. Песня летит далеко, никто ей не перебегает дорогу. Песня любит мою страну.

Боец-казах был прав. Не оттого ли так любят петь казахи, что как бы стеклянный воздух этих пространств придает особую звонкость человеческому голосу? Не многие народы стоят так близко, как казахи, лицом к лицу с девственной природой. Этим объясняется склонность казахов к поэзии. Недаром казахский поэт Чокан Валиханов писал, что постоянное созерцание природы – всегда открытого звездного неба и беспредельных зеленых степей – было причиной поэтического и умозрительного расположения духа степных народов.

Боец с костылем услышал слова Исмаила и сказал:

– Отчего же песне не лететь далеко, браток, ежели в твоей стране одна пустота? Пожил бы ты у нас под Владимиром, послушал шум лесной, знал бы, что такое рай.

Исмаил промолчал.

После Семипалатинска за пологом низких туч заблистало чистое небо, и поезд сразу вошел в иную страну. Сибирь как будто отрезало. Сухая земля, прогретая солнцем, лежала вокруг. На остановках ветер шелестел в высокой окаменевшей траве, и на горизонте стояли желтые невысокие горы. Сарычи кружились над степью. В прохладном воздухе перекликались невидимые птицы. Должно быть, они были так малы, что их нельзя было заметить среди густой синевы.

– Тургаи, – сказал мне Исмаил. – Жаворонки.

Боец с костылем притих, все время стоял у окна, смотрел на полынные просторы, что-то думал. А Исмаил все чаще уходил на площадку, садился на

ступеньки вагона и пел, покачиваясь и улыбаясь. Сквозь грохот колес и лязг буферов эта песня доносилась и к нам в вагон. И тогда боец с костылем вздыхал и говорил:

– Поет казах, встречает свою землю. А чего он поет, вы не знаете? Жалко. Я тоже ихнего языка не разбираю. Надо думать, он вроде как здоровается со степью и говорит: «Вот, мол, повстречались мы снова, и ты меня принимай, как сына, потому что и я за тебя пролил на переднем краю несколько крови».

Где-то за Акжалом поезд долго стоял на разъезде. Бойцы вышли размять ноги, легли у полотна на жесткую траву, слушали, как дышит в тишине пустыни паровоз. Невдалеке подымались из земли серые скалы. Они казались вершинами гор, пробившими толщу земли и лишь немного поднявшимися над равниной. По скалам бродили черные овцы. В овечьей шерсти было много седины, но потом, когда овцы подошли к поезду, то оказалось, что это не седина, а пыльца полыни, густо усыпавшая шерсть.

Вместе с овцами подошел и пастух – старый казах в меховой шапке с наушниками, свисавшими до пояса, и желтыми смеющимися глазами.

Он постоял около бойцов, посмотрел на них, потом вынул из-под кафтана сыр, завернутый в линялый ситцевый платок, подул на сыр и молча протянул бойцам. Бойцы взяли сыр, чтобы не обижать старика, и в ответ угостили его табаком. Синий табачный дым улетал в небо, где не было ни одного облачка и только сверкало белое солнце здешней зимы.

– Эх, – сказал боец с костылем и хлопнул Исмаила по плечу, – жить здесь просторно. Жить мне здесь хочется, понимаешь. Кончится война, приеду сюда, слезу на этом разъезде со своей торбой и пойду далеко, – боец показал на юг, – покамест не дойду до воды. Есть там вода?

– Есть, – ответил Исмаил. – Ала-Куль. Озеро, камыши, птицы много. Как подует ветер, несет по воде к берегу целые горы птичьего пуха. А ты говорил: не земля, пустота.

– Пустота пустоте рознь, – смущенно пробормотал боец с костылем.

Я смотрел на странные скалы и вспоминал открытие академика Ферсмана. Он установил, что почти вся поверхность Казахстана занята размытыми и засыпанными песком горными хребтами. Эти подземные хребты тянутся огромными дугами от Урала до Тянь-Шаня и Алтая. Они богаты медью, цинком, свинцом, серебром, золотом, оловом. Значит, здесь, под этой пустынной землей, заросшей полынью и чием, похоронены исполинские горы и залежи драгоценных металлов.

Прав был Исмаил, – Казахстан велик, как море, и неисчерпаемо богат. Если до войны богатства Казахстана добывались из земных недр по плану и наравне с этим быстро расцветала Казахская Республика, то война довела использование богатств Казахстана до неслыханной быстроты и размаха.

Достаточно только перечислить эти богатства, чтобы понять мощь этой страны и величину той помощи, какую она оказывает фронту. Медные рудники и заводы на берегу Балхаша и в далеком Джезказгане, свинец в сухих горах Ачи-Сая, вблизи древнего города Туркестана, никель около Актюбинска и Мугоджарских гор, железные руды в Карсакпае, марганец на полуострове Мангышлак, нефть на Эмбе, где вышки стоят в розовой воде соляных озер, уголь в Караганде, фосфориты в Прикаспийской пустыне; сурьма в Тургае, редкие металлы и золото на Алтае…

На станции Лепса песок намело кучами к стенам станционных зданий. У входа в буфет стоял на перроне мохнатый двугорбый верблюд и надменно смотрел на бойцов, бежавших с чайниками к кубу с кипятком. Вдали между песками и небом протянулась полоса лакированной, нестерпимо яркой синевы. Это было озеро Балхаш – одно из озер-морей Казахстана.

Солнце садилось за барханами. Пески горели теплым сумрачным блеском. Зажглись огни семафора, и тотчас в небе запылали созвездия. Они шевелились в небе, блеск их с каждой минутой становился ярче. Казалось, что звезды приближаются к земле.

Исмаил стоял на площадке. Я вышел покурить, и Исмаил сказал мне, улыбаясь:

– У нас ночью очень светло от звезд. Дорогу в степи видно, тушканчиков видно. Тушканчик ночью выходит на дорогу, играет в пыли.

– Ты часто вспоминал родину на фронте, Исмаил? – спросил я его.

– Каждый день, – ответил он. – Как можно не вспоминать? Иначе драться нельзя.

Поезд мчался в неясную даль, и я вспомнил зимнюю ночь в горах Алатау около Алма-Аты. В лесах из дикой яблони шумела в снегу горная река, снег слетал белыми светящимися прядями с тянь-шаньских елей. И то тут, то там над вершинами возникали голубые яркие зарева, – то были зарева от звезд, закрытых вершинами.

– Иначе драться нельзя, – повторил Исмаил. – Мой отец был нищий, собирал сухой верблюжий помет для хозяина, делал кизяк; а я научился читать умные книги – я читал Абая и Пушкина и знаю, как работает мотор и как Земля ходит около Солнца. Отец был нищий, я – сержант, а моя сестра – артистка в Алма-Ате. Мой отец всегда говорил: расцветет наша земля, будет богат наш дом, и вечером не хватит огня, чтобы показать его нашим дорогим гостям.

Исмаил помолчал.

– Наши деды дрались за счастье и велели драться за это и нам. Мой дед знал самого Исатая Тайманова, был у него в отряде, видел, как Исатай плюнул на горячую бомбу – и она не взорвалась, потухла. Мало осталось живых, кто помнит восстание Исатая, а дед его помнил хорошо. Исатай дрался за то, чтобы султаны не грабили нищих. Его убили. Но он не выпустил из руки свою саблю.

Я смутно знал о восстании Тайманова, случившемся в начале XIX века. У восставших было два вождя, два друга – Тайманов и акын Мухамбед Утимисон. После встречи с Исмаилом я нашел старые архивные материалы об этом восстании и прочел их.

Это было смелое и упорное дело, восстание бедняков. «Султаны и баи, – писал Исатай русским властям перед восстанием, – всюду нас притесняют безвинно, мучают побоями, своевольно отнимают у нас собственность нашу. Заступников у нас нет».

Исатай поднял кочевников-ордынцев и пошел на ставку султана Букеевской орды около Гурьева.

Были жаркие бои, жестокие схватки. В одной из них Исатай погиб. Он дрался смертельно раненный, стреляя из лука и отбиваясь шашкой от наседающих врагов. Даже враги склонили головы перед телом народного трибуна и храбреца и записали в своих воспоминаниях: «Он сделался жертвой своей отважности».

Исатай был так же отважен, как и его потомки, теперешние бойцы Красной Армии. Недаром средневековый монах Карпини, ездивший послом от римского папы к внуку Чингисхана и пересекший казахские степи, писал о казахах: «Всем надлежит знать, что, завидя неприятеля, они тотчас открыто бросаются на него и поражают и язвят его стрелами».

На станции Сары-Озек Исмаил сошел с поезда, и мы расстались, может быть, навсегда. На прощанье Исмаил крепко пожал руку бойцам, старухе в валенках и девочке с косичками. Меня же отвел в сторону и сказал:

– Я вижу, товарищ, что вы любите мою землю и пишете в газетах. Напишите об этой земле. Пусть наши бойцы читают на фронте. И пусть каждый вспомнит свою степь, и свои горы, и свои леса, и свое детство. И Алма-Ату пусть вспомнит. Красивый город, очень красивый – мой отец в нем был, когда там еще стояли деревянные дома и щели в стенах конопатили сеном. Птицы выклевывали это сено, и потому в домах было очень холодно зимой. Ну, прощайте!

Исмаил вскинул на спину вещевой мешок и пошел к дороге, что вела к Джунгарским горам.

1943

## Дорожные разговоры

Есть у нас в России много маленьких городов со смешными и милыми именами. Петушки, Спас-Клепики, Крапивна, Железный Гусь. Жители этих городов называют их ласково и насмешливо «городишками».

В одном из таких городишек – в Спас-Клепиках – и случилась та история, которую я хочу рассказать.

Городок Спас-Клепики уж очень маленький, тихий. Затерялся он где-то в Мещёрской стороне, среди сосенок, песков, мелких камышистых озер. Есть в Спас-Клепиках кино, старинная ватная фабрика чуть ли не времен Крымской войны, педагогический техникум, где учился поэт Есенин. Но, по правде говоря, городок этот ничем особенным не знаменит. Все те же любопытные мальчишки, рыжие от веснушек, те же жалостливые старухи, плотники со звенящими пилами на плечах, те же дуплистые кладбищенские ивы и все тот же гомон галок.

Около Спас-Клепиков проходит узкоколейная железная дорога. Я проезжал по ней в самом начале весны. Поезд пришел в Спас-Клепики ночью. Тотчас в темный вагон набились смешливые девушки с ватной фабрики. Потом вошел боец с вещевым мешком, сел против меня и попросил прикурить.

Бойца провожали молодая женщина и старуха. Они молчали. Молчал и боец. Лишь изредка то одна, то другая женщина трогала бойца за рукав и тихо говорила:

– Так ты пиши, Ваня.

– Постараюсь, – отвечал боец.

Лица женщин нельзя было разглядеть в темноте, но по мягким их голосам можно было с уверенностью сказать, что это были очень добрые и дружные женщины: мать и сестра бойца, что глаза у них ласковые и что все они полны той любовью к людям, которую наш народ называет не совсем правильно «жалостью».

В ногах у меня что-то завертелось, очень пушистое и теплое. Кто-то, очевидно по ошибке, лизнул мою руку горячим языком. Боец удивленно вскрикнул: «Дымок!» – и засмеялся. Засмеялись и женщины.

– Прибег, – сказал боец. – Хозяина своего прибег проводить. Вот увидит проводница, она тебе покажет! Нешто можно собаке в вагон!

– По такому случаю можно, – ответил из темноты хриплый голос, и тотчас зажужжал в невидимой руке карманный электрический фонарик с динамкой.

Слабый свет упал на пол, потом на серого пса с виноватыми глазами. Он сидел между ног у бойца и торопливо махал хвостом. Всем видом своим он хотел показать, что понимает, конечно, незаконность своего пребывания и вагоне, но очень просит не выгонять его, а дать попрощаться с хозяином.

– Дымок, друг любезный, – сказал боец, – как это мы тебя не приметили!

– Я его в избе замкнула, – будто оправдываясь, сказала старуха.

– Под дверью, видно, протиснулся, – объяснила молодая женщина. – Там доска отстает.

– Сколько бежал! – вздохнул, сокрушаясь, боец. – Двенадцать километров! А? На дворе темнота, грязь, дороги вконец развезло. Ишь, мокрый весь до костей!

– Животное все понимает, – сказал из глубины вагона бабий голос. – Оно и войну понимает. И, скажем, опасность. У нас в Ненашкине прошлый год немецкие самолеты повадились пролетать, два раза бомбы спускали, убили телку Дуни Балыгиной. Так с тех пор как загудят, антихристы, так петухи рысью бегут под стрехи, хоронятся.

– Зверь и тот его ненавидит! – сказал человек с фонариком. – Шерсть на собаках дыбом становится, как заслышат они ихний лет. Вот до чего ненавидят.

– Буде врать-то! – сказала проводница. – Откуль пес разбирает, какой летит: ихний или наш.

– А ты его спроси, откуль он знает, – ответил хриплый голос. – У тебя одно занятие – никому нипочем не верить. Билеты по десять минут в руках вертишь. Все тебе метится, что они фальшивые.

– Пес все может определить, – сказал примирительно боец. – У ихних самолетов гул специальный. С подвывом.

– Сам ты с подвывом! – огрызнулась проводница.

Паровоз неожиданно дернул. Страшно лязгнули буфера, еще страшнее зашипел пар. Девушки с ватной фабрики с визгом бросились к выходу; оказалось, что все они провожали подругу. Женщины торопливо попрощались с бойцом и спрыгнули уже на ходу.

– Дымок! – тревожно кричали они из темноты вслед поезду. – Дымок!

– Дымок! – кричал и боец, стоя на площадке и оглядываясь.

Но Дымка нигде не было.

– Пропал пес, скажи на милость! – бормотал смущенно боец, возвращаясь в вагон. – Вот незадача, скажи пожалуйста!

– Да здесь он, дядя Ваня, – раздался из темноты мальчишеский голос. – Схоронился у меня в ногах, весь трясется.

– Это кто говорит? – спросил боец. – Ты, Ленька?

– Я.

– Ленька Кубышкин из Кобыленки? Кузьмы Петровича сын?

– Он самый.

– Дай-ка я около тебя сяду.

Боец протиснулся к мальчику, сел, опустил руку, нащупал дрожащего пса, вытащил его за загривок и посадил к себе на колени.

– Вот, понимаешь, навернулась забота, – сказал боец. – Увязался Дымок, что с ним поделаешь! А женщины мои, небось, измаялись там на станции, всё его кличут. Чего ж теперь будет-то?

– Ничего не будет, – сказала проводница, – кроме того, что я тебя высажу с этой собакой в Кобыленке. Взял моду с собаками в такое время кататься! Билет на

нее есть?

– Нету, – сказал боец. – Я ж ее не брал, она сама в вагон влезла, в ногах схоронилась.

– Мне какое дело, – ответила проводница, – сама или не сама. Мне давай билет и общее согласие пассажиров на провоз ее в этом вагоне. И справку, что она у тебя здоровая. Ишь моду взял какую, – собаками сейчас заниматься.

– Иди ты, знаешь куда! – опять сказал из темноты хриплый голос. – Бессовестная! По человечеству надо судить. А у тебя заместо ума – тарифные правила!

– Поговори у меня! – угрожающе сказала проводница, но ей не дали окончить.

Вагон зашумел так грозно, что проводница ушла. Она так хлопнула дверью, что старуха, сидевшая у дверей, перекрестилась:

– Исусе Христе! Так ведь и голову отшибить недолго!

– Слыхал я, Ленька, что от отца, от Кузьмы Петровича, писем весь год не было, – сказал, помолчав, боец.

– Не было. Все не пишет.

– А ты не беспокойся. Иной человек и жив и его осколком даже нисколько не царапнуло, а он писем не пишет.

– Обстановка, что ли, не позволяет? – спросил хриплый голос.

– Бывает, обстановка. А бывает, и характер у человека такой.

– Надо быть, нету уже в живых человека, раз он цельный год вестей не подает, – сказала старуха, сидевшая около двери. – Охо-хо-шеньки!

– Не отучились вы каркать! – рассердился боец. – Вместо разговору всегда у вас, у старых, один карк. То рваную подошву нашла на дороге – к беде! То воробей влетел в избу – опять худо! То лошадь приснилась, – быть, значит, пожару. Выдумки у вас слишком много. Паренек ждет отца, надеется, а ты ему сомненье даешь. С какой это стати, интересно? К чему это такой разговор!

– А я, дядя Ваня, нисколько не беспокоюсь, – тихо сказал мальчик. – Папаня мой жив. Я это сегодня узнал.

– Товарищей его встретил, что ли?

– Нет, не товарищей. Через экран я узнал.

Боец уставился на мальчика.

– Через какой экран? Очумел, что ли!

– Да нет, дядя Ваня, честное пионерское – не очумел. Только приехал третьего дня в Кобыленку из Клепиков Валя Лобов и говорит: «Хочешь, Ленька, своего папаню видеть в геройской обстановке? Ежели хочешь, то езжай первым поездом в Клепики, иди в кино и смотри картину „Сталинград“. И увидишь ты в ней своего родителя живого и невредимого». Я и поехал. Пошел в кино. Мальчишки у дверей толкутся, все без билетов – и никого не пускают. Всё оттирают и оттирают меня от дверей, а за ними уже звонок звенит. Я и заплакал. От досады на этих мальчишек заплакал. Мальчишки смеются: «Гляди, какой нервный!» Тут я им и объяснил свое положение. Зашумели они: «Чего ж ты молчал, гусь лапчатый! Сеанс уже начинается!» И давай колотить в дверь кулаками. Милиционер выскочил – старенький уже, усатый – и кричит: «Марш отсюдова! Я вас, огольцов, всех позабираю!» А мальчишки вытолкнули меня вперед, все кричат, все разом милиционеру рассказывают, зачем я в кино приехал. Милиционер взял меня за пиджачок, втащил в дверь, говорит: «Ну ладно, иди. Только смотри – без обману». А со мной трое мальчишек все-таки влезли. Сел я, смотрю, – и до того мне страшно! И все жду. И вдруг вижу: папаня мой бежит по двору в каске, стреляет, и за ним бегут другие бойцы. И лицо у него такое-то суровое, крепкое. И тут я закричал и ничего больше не помню. Будто уснул сразу, а проснулся в комнате у директора кино. Сижу на диване, директор – девушка такая веселая, в ватнике, – меня водой отпаивает, а милиционер стоит рядом и говорит: «Первый случай в моей практике, а стою я в

этом кине уже два года». Потом директор велела мне подождать, ушла и, как сеанс окончился, принесла мне кусок пленки с папаней, сказала: «Береги и отпечатай при первой возможности».

– А ну покажь! – сказал боец.

Мальчик вытащил из кармана завернутый в бумагу кусок пленки. Человек с хриплым голосом зажег электрический фонарик и осветил пленку. Боец осторожно развернул ее и посмотрел на свет.

– Беда! – вздохнул он. – Мелкая очень печать, все навыворот! Не разберу. А охота мне Кузьму Петровича посмотреть в сталинградском бою, большая охота.

– Счастье тебе, малый, – сказал человек с хриплым голосом. – Истинное счастье!

– А наши старухи-дуры, – пробормотала старуха, сидевшая у двери, – всё на кино ругаются. Мельтешит, говорят, перед глазами и мельтешит!

– Вот те и мельтешит! – сказал боец. – Слыхала, какой случай? За это незнамо кого благодарить надо.

– Уж истинно, благодарить, – согласилась старуха. – За утешение, за то, что отца повидал. Великое дело!

Паровоз засвистел, начал тормозить.

– Кобыленка! – сказал мальчик и встал. – Ну, мне сходить. Вы, дядя Ваня, дайте мне Дымка. Я его завтра к вашим назад отвезу.

– Вот выручил! – радостно сказал боец. – А то душа у меня не на месте. Жаль собаку. Возьми его на руки, держи крепче. И папане обо всем напиши. Привет от меня, от Ивана Гаврюхина. Ну, шельма, прощай!

Боец потрепал собаку по спине, по ушам, потом погладил. Мальчик взял Дымка, спрятал под пальтецо и быстро вышел. Я вышел вслед за ним на открытую площадку. Поезд тронулся. Собака тихо повизгивала у мальчика под полой.

В холодных лужах блестели звезды. Ветер дул из лесов, доносил запах талого льда – должно быть, с лесных озер, где сейчас было черно, жутко, где лед уже растаял у берегов и к полыньям подбегали сторожкой рысцой худые волки, пили жгучую воду, оглядывались, нюхали воздух; из-под осевшего снега пахло мерзлой брусникой, корнями.

Я вошел в вагон и услышал голос бойца:

– За это незнамо кого благодарить надо, – сказал он, затянулся, и огонек папиросы осветил его щетинистое лицо.

Все сильнее шумел ветер в соснах за окнами вагона. Поезд входил в обширный лесной край.

1943

## Бакенщик

Весь день мне пришлось идти по заросшим луговым дорогам. Только к вечеру я вышел к реке, к сторожке бакенщика Семена.

Сторожка была на другом берегу. Я покричал Семену, чтобы он подал мне лодку, и пока Семен отвязывал ее, гремел цепью и ходил за веслами, к берегу подошли трое мальчиков. Их волосы, ресницы и трусики выгорели до соломенного цвета. Мальчики сели у воды, над обрывом. Тотчас из-под обрыва начали вылетать стрижи с таким свистом, будто снаряды из маленькой пушки; в обрыве было вырыто много стрижиных гнезд. Мальчики засмеялись.

– Вы откуда? – спросил я их.

– Из Ласковского леса, – ответили они и рассказали, что они пионеры из соседнего города, приехали в лес на работу, вот уже три недели пилят дрова, а на реку иногда приходят купаться. Семен их перевозит на тот берег, на песок.

– Он только ворчливый, – сказал самый маленький мальчик. – Все ему мало, все мало. Вы его знаете?

– Знаю. Давно.

– Он хороший?

– Очень хороший.

– Только вот все ему мало, – печально подтвердил худой мальчик в кепке. – Ничем ему не угодишь. Ругается.

Я хотел расспросить мальчиков, чего же в конце концов Семену мало, но в это время он сам подъехал на лодке, вылез, протянул мне и мальчикам шершавую руку и сказал:

Конец ознакомительного фрагмента.

---

Купить: https://tellnovel.com/ru/konstantin-paustovskiy/tyoplyy-hleb-kupit

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить